

ленная в отдельных горестных народных судьбах, и судьба православия, к которой поэт подходит не с гордынно-теоретическими выкладками, а с земной болью и с доподлинным знанием нашего «здесь и теперь». Стихотворение начинается совершенно прозаическим диалогом (лишь настоящая поэзия способна впустить в себя столь «низкую» материю):

— Сын пьет?
— Пьет... Ладно бы просто пил, — бьет...

Далее в этой стихотворной повести возникают убийственно точные и столь знакомые реалии:

Это он, ирод, в отца. Отец тоже бил,
хоть и не пил.

Война прибрала...

Старуха, героиня стихотворения, уже и не молит Бога за пропадающего сына, только носит на шею второй крест...

Идет. Постукивая посошком.
Окаменел в душе обиды ком.
Но в церкви забывается обида.
Да, в церкви той, благообразной с вида,
что так же измородована, забита,
как и она, сыновним кулаком.

Так возникает пронзительная метафора, в которой спрессованы глубинные мысли поэта о родине, о сородичах, о вере.

«Мир чист и переливчат, как созвучье. Чтобы его понять и полюбить мне, — о, без метафоры не обойтись...» — признается Зорин. Образность поэта неожиданна и убедительна, подчас причудлива, но никогда не кокетлива.

Однако несмотря на всю живописную яркость и зримость зоринской поэзии, главное ее начало — слово. Он уверен: «Владеющий словом — владеет собой». Понимание для художника незаменимо: оно предполагает, что точность слова неотъемлема от правды духа.

Татьяна Бек.

*

НАТАЛЬЯ АСТАФЬЕВА. Заветы. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1989. 191 стр.

«Поэзия как документ» — так можно было бы назвать рецензию на этот большой по объему стихотворный сборник. Предвижу читательское: как это — документ? Ведь известно, что нет ничего субъективнее, чем слово поэта! Все так. Но нет и ничего достовернее, правдивее, — если поэзия, разумеется, настоящая.

В последнее время мы много спорим о нашем прошлом. Звучит, в числе прочего, и такое: а существовали ли они в самом деле — кристально чистые подвижники, воодушевленные идеей всеобщего блага, или обаятельные образы их — плод позднейшего мифотворчества, а на самом деле была банальная борьба за власть, честолюбие, заговор и переворот со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Книга Натальи Астафьевой иллюстрирована (редкий случай для поэтического сборника!) фотографиями из архива автора. Вот

с одной из них глядят на нас две юные девушки в светлых платьях, в шляпках по моде начала века. Милые, серьезные лица. И тут же — стихи:

Две девушки родом из Двинска, Наташа
Кононова
и Юзя Юревич (моя мать — Юревич в
девичестве),
учась на бестужевских, вместе снимали
комнату,
мама была биологом, Наташа — на
историческом.

В делах Петроградского охранного отделения они фигурируют вместе (охранка усердствовала),
подруги-бестужевки, вместе читавшие
Ленина,
мама была беспартийной.
Наташа тогда эсерствовала...

Стихотворение «Подруги», безусловно, одно из лучших в книге. Уместна и естественна здесь длинная, как бы «прозаическая» строка, уместна и естественна неожиданная и звонкая рифма: «усердствовала — эсерствовала» (последнее хочется отметить особо, поскольку в иных случаях Н. Астафьева бывает, к сожалению, небрежна в стихе, особенно в рифмах). Но сюжет стихотворения не обрывается на воспоминаниях о революционной юности, тифозных бараках и разведках в тылу у Деникина — сама жизнь продолжила его непредсказуемо и страшно:

В тридцать седьмом их забрали,
одну и другую вскорости,
двух давних поборниц свободы и
справедливости,
мама была в Долинке Карагандинской
области.
Наташа в Акмолинске, это совсем
близости.

И пусть была потом «оттепель» и реабилитация («маме — прижизненная, Наташе — уже посмертная»), не вернуть загубленных лет, не вернуть загубленных людей. Не вернуть отца — польского революционера Ежи Чешейко-Сохацкого (на одной из фотографий он запечатлен анфас и в профиль — так снимали в охранке), не вернуть дядю Стефана — «пылкого подпольщика», который затем

...в красном Двинске возглавлял Совет и Витебском руководил губернским...

Книга Н. Астафьевой, как, впрочем, и большинство других книг, касающихся тех же тем, не отвечает на вопрос: как это могло случиться? Почему прекрасная мечта обернулась столь страшной реальностью? Просто ли ворвалась в жизнь некая слепая сила, вихрь, рок, как можно понять, читая книгу? Нет, это не в упрек поэту говорится. Поэт не в силах ответить на все вопросы. Он отвечает на один, тоже главный сегодня: да, были, да, жили такие люди! Да, была и духовная чистота, и самоотверженность, и жажда служить людям, и готовность умереть за них. А раз были — значит, не могли пропасть бесследно.

Автор одной критической статьи поспешил не так давно причислить Наталью Астафьеву (с самыми лучшими намерениями!) к числу авторов, долгие годы дождавшихся своей первой книги. Это не так. Были книги. Была когда-то молодая и свежая,

действительно первая книжка «Девчата». Была не так давно книга «Любовь» — редкая в наши времена книга, целиком посвященная этому вечному и прекрасному чувству. Но что верно, то верно: книга «Заветы» писалась всю жизнь, даты под стихами подтверждают это. Может быть, потому она так неровна, рядом с прекрасными стихами нашли себе место относительно слабые. Едва ли могут быть признаны удачными такие, например, строки, как «шел в черные сукна прохожий одет» или «ненавидя и зевая, этот мир кругом пауч». Но, думается, правы были на сей раз и автор, и издательство, выпустив книгу «непричесанной», такой, какая она есть, какая сложилась за десятилетия. Ведь это — поэзия-документ. Потому что придумать то, о чем написана книга Натальи Астафьевой, — невозможно.

Илья Фояков.

*

РАДИЙ ФИШ. *Спящие пробудятся.* Исторический роман. М. «Советский писатель». 1989. 528 стр.

Бедреддин Махмуд Симавна Кадысьогулу...

Встретив это имя в романе Радия Фиша, я, пожав плечами, переиначила стихотворную строчку: «Хоть имя чуждо...» Дочитав роман, повторил вслед за Владимиром Соловьевым: «...но мне ласкает слух оно».

Кто ж этот человек, посетивший сей мир бездну лет тому назад?

Мыслитель. И притом не уездного ранга. Полководец, но не покоритель, а освободитель — вождь крестьянской войны. К тому же (пользуясь современным термином) интернационалист. Его трагическая судьба дождалась своего художника.

Исторический романист предполагает у нас с вами некоторую предварительную осведомленность. Боюсь, средние века Османской империи известны широкому читателю несколько меньше, чем другая сторона Луны. Исторический романист имеет дело с обстоятельствами места действия. А тут они таковы, что даже в памяти бывших отличников осталось что-то вроде бледно-сизой контурной карты.

Все это, однако, жухнет перед психологическими трудностями. Их степень возрастает вместе с временной отдаленностью. Сказано давно и сказано справедливо: перебираясь в прошлое, романист должен расстаться с тяжелым грузом домашних впечатлений, представлений, привычек. А это совсем не так просто, как может показаться вчуже. Необходимы жесткий самоконтроль, неуспяная бдительность.

Сдается, на русском языке нет ни одной монографии о Бедреддине (1359—1411). Метода компиляций и прямых заимствований, присущая романисту-скоропечатнику, в данном случае просто-напросто неисполнима технически. От автора требовались и самостоятельные разыскания и самостоятельное осмысление, усилия долгие и добросовестные.

Странствуя в духовной сфере, Бедреддин припадал к родникам реальностей. Удаляясь от правоверной схоластики, приближался к

еретическому суфизму, как бы аукаясь с протестом плебса, «низов». Кстати сказать, философия этого сложного течения представлена в нашей специальной литературе совсем недавно (М. Т. Степанянц. Философские аспекты суфизма. М. «Наука». 1987; Дж. С. Тримингэм. Суфийские ордены в исламе. М. «Наука». 1989).

Но Бедреддин странствовал и в прямом смысле слова. В тех же широтах и долготях странствовал и автор. Не залетным туристом, а несуетным литератором и востоковедом. Романная панорама Ближнего Востока не романтична, а многоцветна и рельефна; ее видишь глазами героев книги: пышность и лохмотья, тонкая образованность и грубое невежество, быстрая кровь междоусобиц и тяжкий пресс тиранства.

Разрывая плотные завесы веков, Бедреддин шаг за шагом приближается к читателю и доверительно берет за руку. У него страстный темперамент. Его душа работает, ум бодрствует. Он сострадает ближним, даже если они дальние. Он любит женщину. Бедреддин в романе Р. Фиша — человек. А человек только тогда велик, когда он человекен.

Эпопея крестьянской войны занимает в книге (и это оправданно) значительное место. Ее вдохновитель — Бедреддин; предводители — ученики Бедреддина; действующие лица — крестьяне, ремесленники, рыбаки. Именно лица, а не маски. И какая удивительная россыпь подробностей обыденщины, какая нестрота при внутреннем единстве.

Радищев не без горечи отмечал, что пугачевцы, увлеченные мщением, не взбудрили социальную новину. Усилия поднять ее, описанные в романе на багровом фоне не бессмысленного мужицкого восстания, исполнены глубокого значения. То был могучий порыв к справедливости. Попытка придать земные черты поднебесной утопии социалистического толка.

Невнимание к языку, к поэтике исторической прозы — почти хронический грех текущей критики. На том и себя ловлю — обращаюсь вскользь, под занавес. Испытываешь недоверие и даже как бы чувство неловкости, читая повествование о далеком прошлом, написанное шершавым или полированным языком сегодняшнего дня. А роман, напигированный архаизмами, вызывает что-то похожее на астматическое дыхание. У Радия Фиша и тут были особые трудности. И потому, что он реставрировал очень далекую эпоху, и потому, что изображал людей и события Востока. Думаю, автору удалось избежать и тины архаики, и скороговорки модерна. Это не средний путь; это тернистый путь.

Книга, мне кажется, принадлежит к тем, что ныне называют романами-исследованиями. Она обладает чрезвычайно важным достоинством, пробуждая интерес и тягу к истории Востока, заставляя призадуматься над кривобокостью европоцентризма.

Восток и Запад давно «сошли с мест». И проблемы Востока отнюдь не на проселках проблем мировых

Юрий В. Давыдов.

*